

Алексей Толстой

Рукопись, найденная под кроватью



Алексей Толстой

Рукопись, найденная под кроватью

«ФТМ»

1923

Толстой А. Н.

Рукопись, найденная под кроватью / А. Н. Толстой — «ФТМ», 1923

ISBN 978-5-457-10108-1

«Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, – ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля – много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, – превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне – легче пуха, теплее шубы – халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, – Париж, Париж!..»

ISBN 978-5-457-10108-1

© Толстой А. Н., 1923

© ФТМ, 1923

Алексей Толстой

Рукопись, найденная под кроватью

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, – ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля – много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, – превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне – легче пуха, теплее шубы – халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, – Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше – трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами – особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть, – хоть раз вдохнешь – во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно, – вот так, в тишине, – вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, иступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь Я – сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, иступленные глазки... Всего ей мало, – чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и – вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт – русский, к сожалению. Но я – просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я, – закурил папиросу и – дым под солнце. Идеальное состояние. Я – человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот – мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце – о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви – я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь – честь. А ленточки – это дешевка, – мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, – какая сволочь люди, – унылое дурачье. Я уж не говорю про – извините за выражение – Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник – вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнила Петербург? Морозное утро, дым над городом. Весь город – из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег, – идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники, – покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй, – оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и

в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

А в участках у них городовые – ажаны – первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабица, налита вся красным вином, выпивает четыре литра в день, плечи – могучие, корсетом до того перетянута, что внизу – пышность непомерная, а за грудь – отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот – перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар [дешевое вино] во все бутылки и – опять – каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее быстро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязенького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся – в салатных, капустных листьях. Но – местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку – сними-ка шляпу – мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов, – Дантона возили и Робеспьера возили – головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

На чем бишь остановился? Да, – мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви – залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки, – дрогнешь, Медея, выставишь еще бутылмент...

...Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами, – давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина, – как ее, черта, забыл имя, – из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре – женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочитайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрыжка старого, – будто мне нужно чье-то оправдание – Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда – владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человеком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной, – видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки – отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

...Абазур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм вонью на весь мир и сдох. Высшее, что есть

в жизни, – покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане – чистые носки и воротничок, – берегу их на особенный случай, в правом – карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит в голове, – пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне – тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

...Друг мой, Михаил Михайлович, – я знаю, – часа уже три бегают по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша, – этого бистро вы не знаете. А вдруг – зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне – зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвостовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом, – даже нехорошо, – любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало – заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома, – научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю – у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, расстегивает мундир, – в руках бутылка с коньяком и рюмка, – слушает и раскачивается, припухшее лицо его – бритое и красное – все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней, – надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит иступленная вера... Преобразись, несправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него – не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми, – все это важно.

Его род – не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры, – зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосы святых отцов, скликал дудочников и скоморохов, – и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь,

кидался он из шатра на аргамака, – как был – в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках, – и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле, – плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа – громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж – он как в бане моется, дрянь из него выходит, – хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбочке, с хлеботорговцем в Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят – он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах, – премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой, – город одиночества. Идешь в сумерках – дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный, – сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка, – одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит – и голоса счастья и стоны смерти, – все сберегает – суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания, – все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? – Только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж, – с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кровушкой, – переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами, – медь о медь, – древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвержденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые – самые нестроумные – воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые – остроумные – занимались спекуляцией, для какой-то цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немед-

ленно продавать деньги и вещи. Третий разряд – это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? Тотто: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится, – от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.